

Научные доклады высшей школы



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Тематический выпуск

Литературоведение: наука и здравый смысл.
К 95-летию профессора Валентина Евгеньевича Хализева



Главный редактор /
Editor-in-Chief

Ю.Е. Прохоров,
д. ф. н., д. п. н., проф.

Заместители главного редактора /
Deputy Editor

У.М. Бахтикиреева, д. ф. н., проф. (РУДН)
языкознание

М.А. Черняк, д. ф. н., проф. (РГПУ)
литературоведение

Первый заместитель главного редактора
Principal Deputy Editor-in-Chief

В.Н. Базылев, д. ф. н., проф.

Международный редакционный совет /
International Advisory Board

Ян Вавжинчик, д. ф. н., проф. (Варшавский ун-т, Польша)
Б.В. Дооге, PhD (Гентский ун-т, Бельгия)
А.Д. Дуличенко, д. ф. н., проф. (Тартуский ун-т, Эстония)
М.Н. Лейдерман (Липовецкий), д. ф. н., проф. (Колумбийский университет. Нью-Йорк)
М.А. Литовская, д. ф. н., проф. (National Chengchi University — R.O.C.Taiwan и УрФУ)
В.В. Мадоян, д. ф. н., проф. (Ереванский университет международных отношений им. Ан. Ширакаци. Армения)
В.А. Маслова, д. ф. н., проф. (Витебский ун-т, Беларусь)
И.Г. Овчинникова, д. ф. н., проф. (Ун-т Хайфы, Израиль)
М. Попова, чл.-кор. Болгарской АН, д. ф. н., проф.
М. Рубин, д-р филол. (Лондонский ун-т, Великобритания)
И.Л. Савкина, д-р филос. (Ун-т Тампере, Финляндия)
Э.Д. Сулейменова, д. ф. н., проф. (КазНУ, Казахстан)
М.В. Тлостанова, д. ф. н., проф. (Линчепингский ун-т, Швеция)
Р. Чандлер (Лондонский ун-т Королевы Марии, Великобритания)
С. Кипер, Ph.D. (Университет Александра Иоан Куза, Румыния)
А. Павленко, Dr. (Ун-т Темпл, США)
Х. Вальтер, проф. (Грайфсвальдский ун-т, Германия)

Редакционная коллегия /
Executive Board

М.П. Абашева, д. ф. н., проф. (ПермГПУ)
И.Л. Волгин, д. ф. н., проф. (МГУ)
Т.Т. Давыдова, д. ф. н., проф. (Мосполитех)
С.А. Кибальник, д. ф. н., проф. (Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН)
О.А. Клинг, д. ф. н., проф. (МГУ)
Н.В. Ковтун, д. ф. н., проф. (КГПУ им. Астафьева)
Р.Р. Кожухаров, к. ф. н., доц. (Литинститут им. Горького)
Е.И. Колесникова, д. ф. н., вед. н. с. (Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН)
Н.М. Малыгина, д. ф. н., проф., вед. н. с. (ИМЛИ РАН)
З.А. Кучукова, д. ф. н., проф. (КБГУ)
М.А. Марусенко, д. ф. н., проф. (СПбГУ)
Д.С. Московская, д. ф. н., гл. н. с. (ИМЛИ РАН)
И.А. Панкеев, д. ф. н., проф. (МГУ)
Е.Н. Пенская, д. ф. н., проф. (НИУ ВШЭ)
В.В. Перхин, д. ф. н., проф. (СПбГУ)
Н.Н. Примочкина, д. ф. н., проф., в. н. с. (ИМЛИ РАН)
В.И. Хайруллин, д. ф. н., проф. (БашГУ)
А.А. Холиков, д. ф. н. (МГУ)
И.С. Хугаев, д. ф. н., вед. н. с. (Владикавказский НЦ РАН и РСО-А)

Редакция / Editorial Staff

Шеф-редактор / Editorial Director

Л.Г. Тюрина, д. ф. н., проф.

Редактор / Editor

И.В. Проскурякова

Корректор / Proofreader

Д.В. Балтрушайтис

Компьютерный дизайн, верстка / Designer

С.В. Пушина

Издательство / Publishing office

Инновационный научно-образовательный и издательский центр (ИНОИЦ «АЛМАВЕСТ»)

Почтовый адрес:

117342, Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3

Тел. 8 (495) 99-88-612

+7 (985) 99-88-612

e-mail: philnauki@gmail.com

URL: <https://filolnauki.ru>

Усадьба как «мироприемлющее начало» (В.Е. Хализев) в русской литературе XVIII–XX веков

В статье рассматривается роль концепции В.Е. Хализева о мироприемлющем начале в русской и мировой словесности и о литературных сверхтипах, обусловленных противоположными ценностными ориентациями, в эволюции литературной усадьбы. Показывается, что именно один из выделенных Хализевым персонажных сверхтипов — житийно-идиллический — лег в основу сентиментального идеала, вершинной манифестацией которого во многом стала русская литературная усадьба XVIII–XX вв. Однако, в отличие от западноевропейских аналогов, идиллический хронотоп русской усадьбы проявил устойчивость под напором разрушительных романтических страстей и агрессивных социальных стихий. Причина этого видится в соединенности русской усадебной культуры классического периода, с одной стороны, с европейским сентиментализмом, с другой — с отечественными христианско-православными ценностями, унаследованными из усадебной топики Древней Руси. Именно указанный синтез обуславливает национальное своеобразие русской литературной усадьбы на общеевропейском фоне. Полученный вывод применяется к анализу пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», где наряду с показанным Хализевым идиллическим началом открывается житийно-православный слой, позволяющий понять пассивное поведение героев пьесы в деле «спасения» вишневого сада как проявление традиционной русской православной святости — «чистого» страдания и добровольной обреченности, проистекающих из нежелания защищаться от мирского зла несправедливыми средствами. Отмечается вклад Хализева в уяснение национального своеобразия русского усадебного топоса.

Ключевые слова: литературная усадьба, мироприемлющее начало, сентиментальный идеал, христианско-православные ценности, В.Е. Хализев, житийно-идиллический сверхтип, «Вишневый сад» А.П. Чехова, национальное своеобразие русской усадьбы

The article examines the role of V.E. Khalizev's conception about the world-accepting principle in the Russian and a global literature and about literary supertypes caused by opposing value orientations in the evolution of the literary estate. It is shown that it was one of the character supertypes identified by Khalizev — the hagiographic-idyllic — that formed the basis of the sentimental ideal, the pinnacle of which was the Russian literary estate of the 18–20th centuries. However, unlike its Western European counterparts, the idyllic chronotope of the Russian estate showed resilience under the pressure of destructive romantic passions and aggressive social elements. The reason for this is seen in the unity of the Russian estate culture of the classical period, on the one hand, European sentimentalism, on the other — domestic Christian-Orthodox values inherited from the estate topics of Ancient Russia. It is this synthesis that determines the national identity of the Russian literary estate against a pan-European background. The conclusion is applied to the analysis of A.P. Chekhov's play "The Cherry Orchard", where, along with the idyllic principle shown by Khalizev, a hagiographic Orthodox layer opens up, allowing us to understand the passive behavior of the characters in the play in the matter of 'saving' the cherry orchard as manifestation of traditional Russian Orthodox holiness — 'pure' suffering, voluntary doom, stemming from an unwillingness to defend oneself from profane evil by unrighteous means. The contribution of Khalizev to the understanding of the national identity of the Russian estate topoi is noted.

Keywords: literary estate, world-accepting principle, sentimental ideal, Christian Orthodox values, V.E. Khalizev, hagiographic and idyllic supertype, "Cherry Orchard" by A.P. Chekhov, national identity of the Russian estate

В своей книге «Ценностные ориентации русской классики» В.Е. Хализев указал на «обширное белое пятно» [1. С. 5] в изучении отечественной литературы XIX–XX вв. Это, по его мнению, недостаточное внимание к «мироприемлющему началу» [Там же. С. 8], в отличие от социально-критического, обличительного. В ретроспективе индивидуалисты, бунтари и революционеры заслонили собой «людей обыкновенных, не притязавших на амплуа избранных и на масштабные свершения» [Там же]. Тем не менее именно они составляют одухотворенную «ткань жизни» России, «которая наследуется от поколения к поколению», формируя национальное «предание» [Там же. С. 9]. По наблюдению Хализева, русские писатели от А.С. Пушкина до А.П. Чехова, помимо изображения бунтующих и нигилистических, как правило европеизированных, героев, проявляли «уважительно-приемлющее отношение к ценностям, накопленным

страной на протяжении столетий» начиная с Древней Руси [Там же. С. 25]. На этом основании ученый выстраивает свою «концепцию литературных “сверхтипов”», главные из которых — *авантюрно-героический* и *житийно-идиллический* [2. С. 18–19].

Хализов присоединяется к тому исследовательскому ряду (Ю.И. Айхенвальд, С.А. Венгеров, В.Н. Перетц, В.М. Истрин, Л.А. Соколов, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов, А.С. Глинка-Волжский, А.А. Золотарев, В.В. Вейдле, Г.П. Федотов, Н.С. Арсеньев, Д.С. Лихачев и др.), представители которого считали русскую классику XIX в. «обновленным подобием древнерусской словесности» [1. С. 26], проводником идеалов христианской святости, искания рая, социального единства, милосердия, «любовного внимания к повседневности» [Там же. С. 33], отвергали национальное «самооплевывание» перед лицом западноевропейских образцов [Там же. С. 31]. Все названные авторы выводили свои тезисы преимущественно из произведений В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, А.С. Хомякова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Н.С. Лескова, Н.А. Некрасова и др. Обратим внимание на то, что перечисленные писатели — участники и изобразители традиционной для России, органичной для национальной жизни с допетровских времен *усадебной культуры*, с XVIII в. воспринявшей западноевропейские формы: в классицизме — белоколонную архитектуру усадебного ансамбля, в сентиментализме — идеал разумно и добродетельно устроенной частно-семейной жизни на лоне природы.

Вспомним, что в средневековой Руси усадьба была самым распространенным типом жизнеустройства как на селе, так и в городе (ведь древнерусские города — агломерации усадеб, поэтому здесь и не возникала оппозиция усадьбы/деревни и города [3. С. 180–181]); кроме того, она была моделью мироздания в целом, вмещающей в себя и светлое, и темное начала, и рай (господский дом с иконами, терем), и преисподнюю (баню) [4. С. 321, 327]; также в древнерусской усадьбе не было элиминации темных сторон бытия: они осознавались как реальность, с которой необходимо сосуществовать, хотя и оценивались негативно; и все же в XVI–XVII вв. усадьба в первую очередь была православным топосом, на фоне греховности падшего мира культивирующим в своих обитателях добродетель смирения, или смиренномудрия; бытовой повседневный уклад в допетровской усадьбе был наполнен христианской символикой, христианскими смыслами (о чем свидетельствует «Домострой» протопопа Сильвестра); кроме того, на сельскую усадьбу распространялось полужыческое представление о сакральном характере русской земли, поэтому она в целом воспринималась как святое место (в соответствии с древнерусским культом Рода и земли, отсутствовавшим в Западной Европе [5]).

В процессе европеизации России в Новое время на эту многовековую культурную традицию наложились иностранные влияния. Сначала классицизм, который внес в *усадебный топос* русской литературы осознанную коннотацию патриотизма, служения Отечеству, долга перед родной землей, большой и малой родиной, что не противоречило древнерусскому идеалу воинской доблести. Но наиболее релевантным ей оказался, пожалуй, лучший плод европейской *литературной усадьбы* — сентиментальный идеал, включающий в себя приветливую природу, уютный земной патриархальный быт, семейную гармонию, веселое общество детей, местную хозяйственно-филантропическую деятельность, согретую поэзией, любовью, дружбой, душевным теплом. Такова, например, жизнь дочери немецкого амтмана Лотты из «Страданий юного Вертера» И.В. Гёте, обитающей в красивом доме посреди гор, лесов и полей, окруженной счастливыми детьми — своими маленькими братьями и сестрами, всегда занятой хлопотами по хозяйству и делами милосердия, причастной к изящному культурному досугу — чтению, музицированию... [6. С. 19, 25–26].

Вместе с сентиментализмом в русской *литературной усадьбе* утвердился идиллический хронотоп: приверженность вековым нравственным устоям, изображение счастливого детства, любящей семьи, преданной любви, созидательного творчества, спокойной красоты, дружествен-

ной природы, успешного хозяйствования на земле, — всё это в гармоническом соотношении друг с другом. Как писал М.М. Бахтин, в идиллии наблюдается

органическая прикреплённость, приращённость жизни и ее событий к месту <...>. Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки [7. С. 374].

Создается, по мнению ученого, «характерная для идиллии циклическая ритмичность времени»; наконец, присутствует «сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма, общий язык для явлений природы и событий человеческой жизни» [Там же. С. 375].

Будучи направлением позднего Просвещения, сентиментализм стремился к разумному устройению частной жизни человека в согласии с природой и окружающим социумом (семьей, дворней, крестьянами и соседями-помещиками), что во многом обусловило расцвет русской *литературной усадьбы* на рубеже XVIII–XIX вв. Яркий пример — «Евгению. Жизнь Званская» Г.Р. Державина. Здесь в деталях представлен гармонический идеал внешнего и внутреннего равновесия, которого автор стихотворения достиг в своей усадьбе: это и вовлеченное любование природой во время прогулок; и чаепитие на берегу реки; и неустанные хозяйственные заботы о пчельниках, птичниках, прудах с рыбой, зерне в амбарах, ягодах на плодовых кустах; и великолепный в своем аппетитном изобилии обеденный стол; и чтение книг с газетами; и неспешная беседа с гостями; и занятия творческим трудом... Это в самом деле лучшее, о чем может мечтать человек на земле:

Возможно ли сравнять что с вольностью златой,
С уединением и тишиной на Званке?
Довольство, здравие, согласие с женой,
Покой <...> [8].

Это идеал, который подразумевала и подразумевает вся последующая русская «усадебная» литература, от романтизма до постмодернизма, пусть и отклоняясь от него в разные эпохи в связи с изменением мировоззренческих координат и окружающего социума, но всегда беря его за точку отсчета. Однако романтизм рубежа XVIII–XIX вв., а затем и неоромантизм конца XIX — начала XX в., с их культивированием сильных человеческих страстей, стремились пошатнуть идиллический усадебный мир («Людмила» В.А. Жуковского, «Чайка» А.П. Чехова и др.).

Не забудем, что одновременно с сентиментализмом в усадебный топос русской литературы была внесена коннотация *рая на земле*, а также места вдохновения, научного и художественного творчества [9. С. 47–51, 73–79, 86–93]; и сентиментальный идеал, воплощенный в жанрах пасторали и семейного романа, в идиллическом хронотопе, стал настолько притягательным, что сохранился на века и лег в основу пленительного *усадебного мифа* Серебряного века, до сих пор любезного нашим сердцам.

При этом, как продукт вольнодумной, обращенной к античным языческим образцам, секуляризованной эпохи Просвещения, сентиментальный идеал в своей основе был утопичен, как и государственно-просветительский идеал классицизма, потому что исходил из представления об изначальной благодати природы мира и человека, берущей начало в философии космизма-пантеизма. Он практически устранял христианское учение о первородном грехе, о предмирной искаженности и греховности человека, его трагической склонности ко злу, запечатленной в Библии. Гармония в человеческой душе и в социуме изображалась в произведениях западноевропейского и русского сентиментализма обычно в усадебном контексте.

Однако индивидуальная человеческая свобода, провозглашенная сентиментализмом, вела прочь от душевного равновесия, к развитию противоречивых страстей (в том числе любовных) и вторжению негативных социальных стихий (бездушной расчетливости, прозаичности, рутины, пошлости, филистерства). Таким образом, крушение гуманистических иллюзий

Просвещения происходило не только в государственной сфере, но и в частной жизни человека, что и обусловило возникновение романтизма. Стало очевидным, что без Бога, без высших сил, одними человеческими стараниями *рай на земле* построить невозможно ни в государственном, ни в частно-семейном масштабе. Романтизм с его трансцендентными устремлениями явился в этом плане антитезой сентиментализму, однако в русской литературе он так и не смог разрушить сентиментальный идеал усадебной гармонии.

Что же сделало сентиментализм столь устойчивым именно в отечественной культуре? Думается, взаимодополнительность с ее православным субстратом, в Новое время ушедшим в подпочву. В русской *усадебной культуре* классического периода произошла контаминация европейского сентиментализма и отечественных православных ценностей. Ведь известно, что практически вся русская классика или вышла из усадьбы в лице своих авторов, или сделала усадьбу предметом своего изображения. *Усадебный топос* в центре нашей литературы XIX–XX вв. В то же время, как указывает Хализев, ее называют «единственной христианской литературой нового времени» [1. С. 47]. Получается, что европеизированная классицистически-сентименталистская усадьба на русской земле одновременно стала локусом православной праведности, смиренномудрия, благодарного миропрятия и христианского долготерпения.

Похуже, что именно христианско-православная прививка к европейскому сентиментальному идеалу придала русскому *усадебному топосу* силу выживания и национальную специфику. Ведь в европейских литературах сентиментальный идеал не выдерживал романтических порывов человеческой природы, присущих ей губительных страстей («Страдания юного Вертера» И.В. Гёте, «Дикая утка» Г. Ибсена и др.). *Усадебный топос* как главная манифестация сентиментального идеала становится устойчивым лишь при наличии в антично-языческой идиллии житийных мотивов христианской святости (смирения, смиренномудрия, жертвенной любви ко всему живому и т.д.), иначе антиномии омраченной первородным грехом человеческой природы его разрушают. И в русской литературе случился этот драгоценный сплав, был создан такой национальный вариант *усадебного топоса*, который оказался нерушимым идеалом человеческого жизнеустройства на земле, притягательным не только для соотечественников, но и для инокультурных читателей.

Хализев в своей книге прямо не говорит о *литературной усадьбе*, но открытый им в отечественной словесности XIX — начала XX в. *житийно-идиллический* герой и есть прежде всего житель русской усадьбы как симбиоза античной идиллии и христианской святости на родной земле. Только такой тип героя оказывается устойчивым и перспективным, способным пронести, сохранить и умножить *мироприемляющую*, созидательную российскую духовно-культурную традицию сквозь разного рода нигилистические влияния.

В главе «Типология персонажей “Капитанской дочки”» ученый пишет о том, что «персонажи данного ряда» (Ларины, Гриневы и Мироновы у А.С. Пушкина, Максим Максимыч у М.Ю. Лермонтова, старосветские помещики у Н.В. Гоголя, Ростовы и Левин у Л.Н. Толстого, Мышкин и Алеша Карамазов у Ф.М. Достоевского, многие герои А.Н. Островского, Н.С. Лескова, А.П. Чехова и др.) составляют литературный *сверхтип*, принципиально отличающийся от *авантюрно-героического* и равновеликий ему по численности, однако «гораздо менее замечаемый и изучаемый» [Там же. С. 153; 10. С. 164–166]. Характеристика *житийно-идиллического сверхтипа* дается в следующем наборе качеств: «укорененность человека в близкой реальности с ее радостями и горестями, с навыками общения и повседневными делами», открытость «миру окружающих», способность «любить и быть доброжелательными к каждому другому», неучастие в «борьбе за успех», стойкость «в пору испытаний», практическое отсутствие «духовных колебаний», приверженность «*твердым* установкам сознания и поведения» [1. С. 153–154]. Истоки этого *сверхтипа* автор «Ценностных ориентаций...» находит в той традиции античной литературы, которая представлена идиллиями Феокрита, «Трудами и днями» Гесиода, «Буколиками» и «Георгиками»

Вергилия, «Дафнисом и Хлоей» Лонга, «Метаморфозами» Овидия и др., а позже отозвалась у ново-европейских писателей XVIII–XIX вв., в том числе у И.В. Гёте и А.С. Пушкина. Хализев пишет:

Ценностные ориентации, о которых мы говорим, правомерно назвать идиллическими. Речь идет <...> о вечной <...> *действенной* устремленности человека к ладу, порядку, гармонии в собственной жизни и непосредственно близкой ему реальности [Там же. С. 155].

Но ведь это и есть сущность сентиментального идеала!

В русской же литературе, по глубокой мысли ученого, этот *сверхтип* одновременно впитал в себя ценности, «которые запечатлены в средневековых житиях святых и <...> прочно закреплены в христианской культурной традиции» [Там же]. Как пример совмещения *житийного* и *идиллического* Хализев приводит древнерусскую «Повесть о Петре и Февронии Муромских», где «ореолом святости окружается не аскетическая монашеская жизнь, а идеальная супружеская жизнь в миру и мудрое единоедержавное управление своим княжеством» [11. С. 213]. А.А. Григорьев, напоминая Хализев, называл героев *житийно-идиллического* ряда «смирненными», а М.М. Бахтин — «социально-бытовыми» [1. С. 156]. При этом в России, по его мнению, *житийно-идиллический* герой явлен намного «богаче и ярче», чем на Западе [Там же. С. 158]. Далее Хализев приступает к рассмотрению подобных героев в творчестве А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, Н.С. Лескова и А.П. Чехова.

Остановимся на последнем, которому посвящена глава «Идиллическое в “Вишневом саде” А.П. Чехова». Здесь, в отличие от большинства исследований других авторов, подчеркнуты «благие и прочные узы», связующие героев чеховской пьесы [Там же. С. 370]. Это в корне противоречит привычным трактовкам «Вишневого сада», данным современниками и повторявшимся в Советской России на протяжении десятилетий. Так, А.Р. Кугель в статье «Грусть “Вишневого сада”» писал:

Здесь больше, чем ликвидация <...> старинного дворянского имения. Вся жизнь людей есть, по существу, такое же совершенно пассивное ожидание ликвидации <...>. Я не запомню даже у Чехова такой безнадежной фигуры, как Трофимов. Единственно будто бы бодрый и деятельный представитель жизни барин «облезлый», никак не могущий доучиться [12. С. 262–263].

Н.Е. Эфрос в статье «Под говор вишневого сада» увидел в пьесе обновленного Чехова:

Перевертывающим жизнь не пришел еще черед. Но их призрак реет уже над «вишневым садом» <...> в Трофимове — их «первые признаки» [13].

Ф.Д. Батюшков в статье «Предсмертный завет Антона П. Чехова» писал о молодых героях «Вишневого сада»:

...стало быть, движение есть, стало быть, оно сильно, если захватывает в свои ряды даже таких средних личностей, без выдающихся индивидуальных свойств <...> [14. С. 5].

Основным итогом пьесы критик считал мысль об «исправимости» жизни [Там же].

Хализев же увидел в последней чеховской пьесе иное: «характерный для русского быта внесловный демократизм», «дом с открытыми дверями, где собираются очень разные люди и где <...> полностью чужих друг другу нет», «своего рода большую семью», многочисленные свидетельства «о заботливом внимании и сердечной расположенности персонажей друг к другу»: Раневской, Лопахина, Ани, Пети, Вари, Шарлотты, Дуняши и др. [1. С. 371–372]. Таким образом, «идиллический компонент пьесы, исполненной глубочайшего драматизма, довольно весом. Идиллические ценности составляют одну из существенных граней реальности, воссозданной в “Вишневом саде”» [Там же. С. 377], действие которого, напомним, целиком происходит в традиционной русской помещичьей усадьбе. Более того, «формы поведения и общения в доме Раневской во многом сродни тому, что неоднократно и настойчиво воссоздавали русские романисты XIX века», особенно

Л.Н. Толстой в «Войне и мире» (Ростовы), И.С. Тургенев в «Дворянском гнезде» и И.А. Гончаров в «Обрыве» [Там же]. Добавим, что все названные произведения объединяет усадебная топики.

Убедительно показав в «Вишневом саде» *идиллический* компонент, Хализев, однако, ничего не сказал о *житийном*. А ведь, на наш взгляд, он отчетливо ощущается в чеховской пьесе, разлит в ней, как воздух, которым дышат все герои и вместе с ними читатель, зритель. Именно он придает чеховской идиллии ту тонкую одухотворенность, которая делает трогательную историю о старинном русском усадебном «гнезде» также и христианской притчей. Недаром С.Н. Булгаков еще в 1904 г. указал на

исключительное внимание, оказываемое Чеховым <...> неудачникам и побежденным в жизненной борьбе <...>. Чехову близка была краеугольная идея христианской морали <...> что всякая живая душа, всякое человеческое существование представляет самостоятельную, незаменимую, абсолютную ценность <...> [15. С. 552].

И далее:

Религиозная вера в сверхчеловеческое Добро дает опору для веры и в добро человеческое, для веры в человека. И, несмотря на всю силу своей мировой скорби, скорби о человеческой слабости, Чехов никогда не терял этой веры, и за последнее время она все жарче и жарче разгоралась в нем [Там же. С. 557].

Попробуем продолжить и конкретизировать мысли Хализева. В первую очередь ореол святости в последней чеховской пьесе окружает сам вишневый сад — центральный образ произведения. Подобно православным подвижникам Древней Руси, он не боится холода: «Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету» [16. С. 198]. Во-вторых, герои говорят о *неизменной* красоте сада, о неподвластности ее времени и разрушению:

В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось [Там же. С. 210].

В-третьих, прямо указывается на причастность сада к вечной, Божественной жизни: «...ангелы небесные не покинули тебя!» — обращается к нему Раневская и видит, как по саду в белом платье бродит ее покойная мать, молодая и счастливая... И завершается эта чудесная картина иконописным образом: «Белые массы цветов, голубое небо...» [Там же]. Да, это райский сад. Символ не просто России, но Святой Руси.

И тогда совсем в другом свете предстает «непрактичность» хозяйки усадьбы Любови Андреевны, не желающей, по предложению Лопехина, для «спасения» поместья снести старый дом, вырубить сад, построить дачи. Конечно, по земной, сугубо человеческой логике мысль Лопехина вполне разумна и даже продуктивна. Однако Раневская, по-видимому, движима иными, высшими интуициями: сад не может измеряться коммерческой пользой, его главная ценность совсем в другом. Недаром и Варя, и Фирс, и Аня, и Гаев, и Симеонов-Пищик, желая сохранить имение, постоянно обращаются к Богу, полагаются на Божью волю: «Если бы Бог помог», «Боже, спаси меня», «Господи, Господи, будь милостив, прости мне грехи мои», «Бог поможет вам» и т.д. [Там же. С. 212–213, 220, 249]. Утрату сада и родного дома Любовь Андреевна рассматривает как следствие того, что «уж очень много мы грешили» [Там же. С. 219], как наказание за праздность, беспечность, любодейание. Отметим и упоминания церковного календаря в пьесе: «Великим постом», «на Святой [седмце]» [Там же. С. 200, 208]. Варя, похожая на «монашку», мечтает уйти в пустынь, в монастырь и затем в паломничество по святым местам [Там же. С. 199, 202, 232]. Перед окончательным отъездом из усадьбы Гаев вспоминает, как в детстве «в Троицын день <...> сидел на этом окне и смотрел, как [его] отец шел в церковь» [Там же. С. 252]. Второе действие происходит рядом с заброшенной часовней и кладбищем неподалеку от вишневого сада.

Не случайно также, что слово *недотепа*, означающее житейски неловкого, не умеющего добиться успеха и отстоять свои практические интересы человека, рефреном проходит по всей пьесе, вложенное в уста Фирса и вслед за ним Раневской. Исследователями давно замечено,

что *недотепами*, по сути, являются все герои «Вишневого сада», включая дельца Лопухина, тоже не умеющего прочно и счастливо устроить свою жизнь [14; 17; 18; 19; 20]. Так, П.Н. Долженков вполне обоснованно утверждает:

И дворяне, и пришедший им на смену купец-предприниматель, и будущий хозяин «вишневого сада», революционер, — все они недотепы. Мы полагаем, что в комедии «Вишневый сад» представлен исторический процесс <...> и шире — человеческая история вообще. <...> Сделанное нами утверждение: суть истории человечества заключается в том, что на смену одним недотепам приходят другие недотепы, — основа нашей интерпретации «Вишневого сада», и последующий анализ пьесы должен обосновать и конкретизировать эту трактовку [21. С. 57–58].

Звучащее из уст оставленного в запертном доме Фирса (в четвертом действии) слово *недотепа* вообще является последним, ключевым в пьесе. Однако так ли однозначен его смысл?

Да, с точки зрения земного, житейского успеха и Раневская, и Трофимов, и Гаев, и Варя с Дуняшей, безусловно, *недотепы* — или лохи, лузеры, если выразиться по-современному: они не предпринимают решительных действий для сохранности «имения, прекрасней которого ничего нет на свете» [16. С. 240]. Однако в православной традиции это качество имеет совсем другую значимость. Кем были первые русские святые Борис и Глеб, смиренно ждавшие смерти от руки своего старшего брата Святополка Окаянного, страшившегося их соперничества в борьбе за власть? В чем христианский смысл их подвига? Видимо, в том, что они не хотели защищаться насильственными средствами, целиком положившись на волю Божию, хотя и знали о грозившей им смертельной опасности. Размышляя о характере русской святости, С.С. Аверинцев писал о наших соотечественниках:

Никто не вспомнит ни рязанского князя Романа Ольговича, рассеченного на части в Орде за хулу на татарское язычество, ни Кукшу, просветителя вятичей; не без труда наш собеседник припомнит разве что Михаила Черниговского. Но Бориса и Глеба, но отрока, зарезанного в Угличе, веками помнили все. Получается, что именно в «страстотерпце», воплощении чистой страдательности, не совершающем никакого поступка, даже мученического «свидетельствования» о вере, а лишь «приемлющем» свою горькую чашу, святость державного сана только и воплощается по-настоящему. Лишь их страдание оправдывает бытие державы. А почему так — об этом нужно думать обстоятельно и неторопливо [22].

По сравнению с христианскими преданиями других европейских народов Аверинцев указывает в древнерусском «Сказании о Борисе и Глебе» на

крайне важный <...> мотив непротивления, добровольной обреченности, экстатического слезного восторга в самой бездне ужаса. <...> Борис и Глеб с самого начала — не в деятельной, а в страдательной роли. Страдание и есть их дело, сознательно принятое на себя и совершаемое с безукоризненным «благообразием» обряда [Там же].

Вспомним также известные слова Ф.М. Достоевского об истоках и характере религиозности простого русского народа:

Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его. Мне скажут: он учения Христова не знает, и проповедей ему не говорят, — но это возражение пустое: все знает, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса [23. С. 150].

Помимо церковных служб и житий святых автор «Дневника писателя» за 1880 г. указывает на «главную школу христианства»¹, которую прошел русский народ за минувшее тысячелетие:

...это — века бесчисленных и бесконечных *страданий*, им вынесенных в свою историю, когда он <...> оставался лишь с одним Христом-утешителем [Там же. С. 151].

Не просматривается ли та же матрица в поведении героев «Вишневого сада»? И если ответить на этот вопрос утвердительно (к чему имеются веские основания в чеховском тексте), то трактовка сюжета произведения существенно осложняется: теперь это не столько «приговор» дворянско-буржуазной России и призыв к ее «светлому» деятельному будущему, связанному с революцион-

¹ Здесь и далее курсив в цитатах мой. — О. Б.

ными идеями, сколько пронзительный лирический рассказ о предстоящей перед Богом вечной русской красоте, не желающей запятнать себя несправедливыми усилиями для спасения от опасностей, исходящих из падшего, греховного мира.

И в этой связи по-новому прочитываются некоторые незначительные, на первый взгляд, художественные детали, например то, что идеолог уничтожения старого русского мира (куда, по его мнению, «заросла дорожка» [16. С. 233]) ради новой, по-земному благополучной России Петя Трофимов спит в *бане*. Вспомним, что *баня* в пространстве средневековой русской усадьбы, которая являлась моделью существующего мироздания в целом, со светлыми и темными его сторонами, символизировала преисподнюю, ад, обиталище злых духов [4. С. 327]. И действительно, именно Пете удастся внушить нелюбовь к саду-усадьбе наследнице имения Ане. Напротив, смиренный помещик Симеонов-Пищик, попавший в сходную с Гаевыми ситуацию социально-экономического упадка, все-таки дожидается Божьей помощи и сохраняет свою усадьбу для дочери Дашеньки: то через его землю проведут железную дорогу и заплатят за это, то англичане найдут на ней белую глину и арендуют разработку на четыре года...

Как видим, сделанное Хализовым открытие *житийно-идиллического свертхтипа* в русской литературе становится ключом к новому пониманию «Вишневого сада» и — шире — национального своеобразия отечественной усадьбы, особой устойчивости нашего *усадебного топоса*. Идиллический же компонент «Вишневого сада», присутствующий в *усадебном топосе* большинства зарубежных европейских литератур, одновременно свидетельствует об универсальности русской *литературной усадьбы*.

Литература

1. Хализов В.Е. Ценностные ориентации русской классики. М.: Гнозис, 2005. 432 с.
2. Филатов А.В. Аксиологический подход в трудах В.Е. Хализова: ценностные ориентации в литературе и в науке о ней // Новый филологический вестник. 2018. № 2 (45). С. 14–24.
3. Кривов А.С., Крупнов Ю.В. Дом в России: национальная идея. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 416 с.
4. Якеменко Б. Культура Древней и Средневековой Руси. М.: Яуза, 2024. 544 с.
5. Комарович В.Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII веков // ТОДРЛ ИРЛИ АН СССР. Вып. 16. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 84–104.
6. Гёте И.В. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. М.: Худож. лит., 1978. 480 с.
7. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет / М.М. Бахтин. М.: Худож. лит., 1975. С. 234–407.
8. Державин Г.Р. Евгению. Жизнь Званская. URL: <https://azbyka.ru/fiction/evgeniyu-zhizn-zvanskaya-derzhavin-gavriil/> (23.04.2025).
9. Густова Л.И. «Славлю сельскую жизнь на лире...»: усадьба в русской поэзии XVIII — первой трети XIX веков. СПб.: Петрополис, 2013. 216 с.
10. Хализов В.Е. Теория литературы. 2-е изд. М.: Высш. шк., 2000. 398 с.
11. Кусков В.В. История древнерусской литературы. 5-е изд. М.: Высш. шк., 1989. 304 с.
12. Кугель А.Р. Грусть «Вишневого сада» // Театр и искусство. 1904. № 13 (28 марта). С. 262–265.

References

1. Khalizev V.E. Cennostnye orientacii russkoi klassiki. Moscow: Gnozis, 2005. 432 s.
2. Filatov A.V. Aksiologicheskii podkhod v trudakh V.E. Khalizeva: cennostnye orientacii v literature i v nauke o nei // Novyi filologicheskii vestnik. 2018. No. 2 (45). S. 14–24.
3. Krivov A.S., Krupnov Yu.V. Dom v Rossii: nacional'naia ideia. Moscow: OLMA-PRESS, 2004. 416 s.
4. Iakemenko B. Kul'tura Drevnei i Srednevekovoi Rusi. Moscow: Iauza, 2024. 544 s.
5. Komarovich V.L. Kul't Roda i zemli v kniazheskoi srede XI–XIII vekov // TODRL IRLI AN SSSR. Vyp. 16. Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1960. S. 84–104.
6. Gete I.V. Sobranie sochinenii: v 10 t. T. 6. Moscow: Khud. lit., 1978. 480 s.
7. Bakhtin M.M. Formy vremeni i khronotopa v romane: ocherki po istoricheskoi poetike // Voprosy literatury i estetiki: issledovaniia raznykh let / M.M. Bakhtin. Moscow: Khudozh. lit., 1975. S. 234–407.
8. Derzhavin G.R. Evgeniiu. Zhizn' Zvanskaia // Khudozhestvennaia literatura. URL: <https://azbyka.ru/fiction/evgeniyu-zhizn-zvanskaya-derzhavin-gavriil/> (23.04.2025).
9. Gustova L.I. "Slavliu sel'sku zhizn' na lire...": usad'ba v russkoi poezii XVIII — pervoi treti XIX vekov. St. Petersburg: Petropolis, 2013. 216 s.
10. Khalizev V.E. Teoriia literatury. 2-e izd. Moscow: Vyssh. shk., 2000. 398 s.
11. Kuskov V.V. Istoriia drevnerusskoi literatury. 5-e izd. Moscow: Vyssh. shk., 1989. 304 s.
12. Kugel A.R. Grust' "Vishnevoogo sada" // Teatr i iskusstvo. 1904. No. 13 (28 marta). S. 262–265.

13. Эфрос Н.Е. Под говор вишневого сада // Новости дня. 1904. 20 января.
14. Батюшков Ф.Д. Предсмертный завет Антона П. Чехова // Мир Божий. 1904. № 8. С. 1–12.
15. Булаков С.Н. Чехов как мыслитель // А.П. Чехов: pro et contra: творчество А.П. Чехова в русской мысли конца XIX — начала XX в. (1887–1914): антология. СПб.: РХГА, 2002. С. 537–565.
16. Чехов А.П. Вишневый сад: комедия в 4-х действиях // Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1974–1983. Т. 13. С. 195–253.
17. Ермилов В.В. Драматургия Чехова. М.: Гослитиздат, 1954. 340 с.
18. Паперный З.С. «Вопреки всем правилам...»: пьесы и водевили Чехова. М.: Искусство, 1982. 285 с.
19. Катаев В.Б. Постигая «Вишневый сад» // От Крылова до Чехова: статьи о русской классической литературе: учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995. С. 159–176.
20. Полоцкая Э.А. «Вишневый сад»: жизнь во времени. М.: Наука, 2004. 381 с.
21. Долженков П.Н. Эволюция драматургии Чехова. М.: МАКС Пресс, 2014. 260 с.
22. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/drugoj-rim/8 (23.04.2025).
23. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 26. 520 с.
13. Efros N.E. Pod govor vishneвого sada // Novosti dnia. 1904. 20 ianvaria.
14. Batiushkov F.D. Predsmertnyi zavet Antona P. Chekhova // Mir Bozhii. 1904. No. 8. S. 1–12.
15. Bulgakov S.N. Chekhov kak myslitel' // A.P. Chekhov: pro et contra: tvorchestvo A.P. Chekhova v russkoi mysli kontsa XIX — nachala XX v. (1887–1914): antologiya. St. Petersburg: RKHGA, 2002. S. 537–565.
16. Chekhov A.P. Vishnevyy sad: komediia v 4-kh deistviiakh // Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 30 t. Moscow: Nauka, 1974–1983. T. 13. S. 195–253.
17. Ermilov V.V. Dramaturgiia Chekhova. Moscow: Goslitizdat, 1954. 340 s.
18. Papernyi Z.S. "Vopreki vsem pravilam...": p'esy i vodevili Chekhova. Moscow: Iskusstvo, 1982. 285 s.
19. Kataev V.B. Postigaia "Vishnevyy sad" // Ot Krylova do Chekhova: stat'i o russkoi klassicheskoi literature: ucheb. posobie. Moscow: Izd-vo MGU, 1995. S. 159–176.
20. Polotskaia E.A. "Vishnevyy sad": zhizn' vo vremeni. Moscow: Nauka, 2004. 381 s.
21. Dolzhenkov P.N. Evoliuciia dramaturgii Chekhova. Moscow: MAK Press, 2014. 260 s.
22. Averincev S.S. Vizantiia i Rus': dva tipa dukhovnosti. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/drugoj-rim/8 (23.04.2025).
23. Dostoevskii F.M. Polnoe sobranie sochinenii: v 30 t. Leningrad: Nauka, 1972–1990. T. 26. 520 s.



Богданова Ольга Алимовна,

доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник
Институт мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук;
профессор кафедры философии и религиоведения
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

Bogdanova Olga A.,

DSc in Philology,
Leading Research Fellow
A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences;
Professor at the Department of Philosophy and Religious Studies
St. Tikhon's Orthodox University for the Humanities

e-mail: olgabogda@yandex.ru



Статья поступила: 31.05.2025

Принята к печати: 20.07.2025